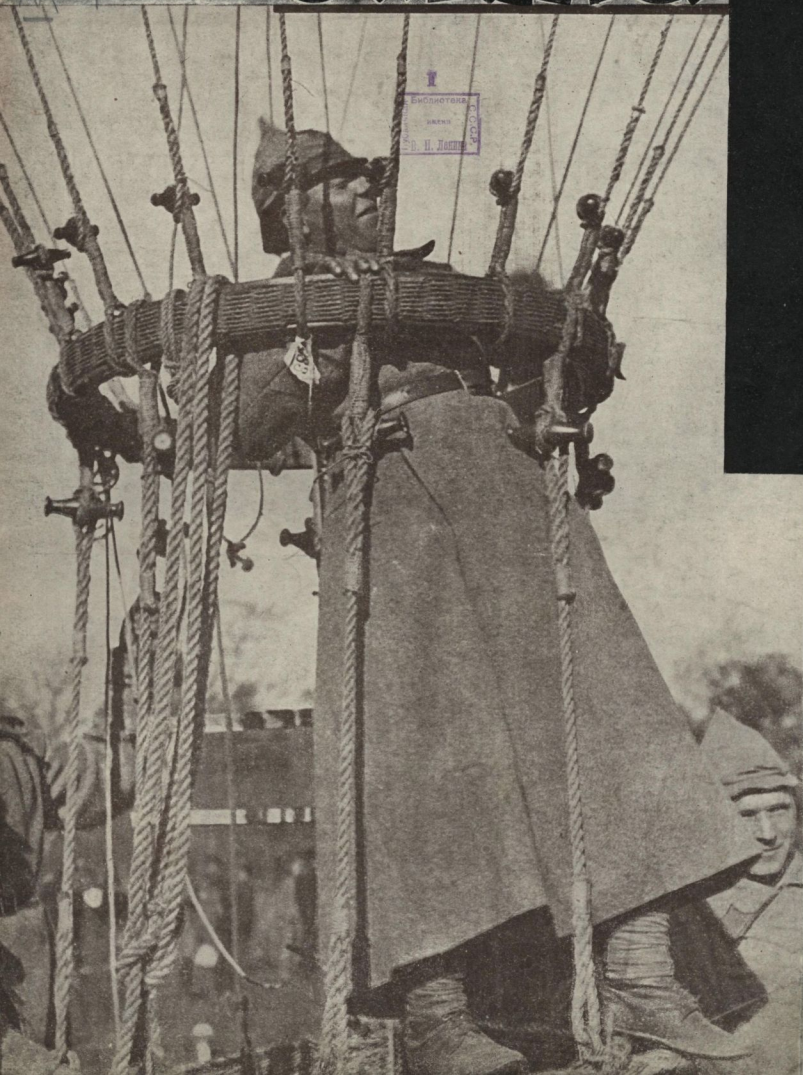


СМЕНА



31

1930

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Фото А. Родченко

10 н.

XIII ОКТЯБРЬ В МОСКВЕ



XX-10171
Пролетарии всех стран, соединитесь!

Смена

№ 31 Н О Я Б Р Ъ 1930 г.


Литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал рабочей молодежи. Орган ЦК и МК ВЛКСМ—Изд. «Молодая Гвардия»

Ответственный редактор С. Кэирад. Заведующий редакцией Я. Юдицкий.
Адрес редакции: Москва, Центр, Новая площадь, 6, ОГИЗ — «Молодая Гвардия».
Редакция журнала «Смена». Телефон 2-33-26.



КОМСОМОЛ НА ОКТЯБРЬСКОМ СУББОТНИКЕ


ОРГАНИЗОВАННЫЙ по инициативе МК КОМСОМОЛА 7 и 8 НОЯБРЯ — в дни ОКТЯБРЬСКИХ ТОРЖЕСТВ — МАССОВЫЙ СУББОТНИК ПРОШЕЛ С БОЛЬШИМ ЭНТУЗИАЗМОМ и ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ. ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ и РАБОЧИЕ МОСКОВСКИХ ФАБРИК и ЗАВОДОВ в ЭТИ ДНИ ПОКАЗАЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ и ОБРАЗЕЦ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ к ТРУДУ. в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ УЧАСТВОВАЛО ОКОЛО 70 т. чел.



„ДОСТИЖЕНИЯ и УСПЕХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ НЫТИКАМ, МАЛО ЕРАМ и ПРАВООПОРТУНИСТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ, НЕ ЖЕЛАЮЩИМ и НЕ УМЕЮЩИМ БОРЬТСЯ с ТРУДНОСТЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА“.

Репорт МК ВЛКСМ

НА СНИМКАХ:
Комсомольцы выгружают
дрова для рабочих районов
Москвы





Рассказ Н. Богданова

В 1924 г. я был на волосок от смерти.

Это было на уютной железнодорожной станции, затерявшейся в невероятной черемозной глуши Тамбовской губернии. Горячо выдыхая, подошёл поезд. Потный бумажник хлопал себя сафьянкой по лицу, прогнана сонная олуха. Девушка, моя невеста, которую вез в Москву, крепче сжимала мою руку. В приятном волнении я поднимал с пола чемоданы.

А в это время мой первый друг, Алешка Семичкин, стоял напротив, засунув руки в карманы засаленных брюк, и оцепывала испотевший браунинг.

— Изменили дружбу, так и скажу всем, — думал он. — Вместе вступали в комсомол, вместе ходили в отряды. Видели холод и голод, одной одеждой одевались, одной душой жили. И что же? Устроился в Москве, есть возможность видеть с собой второго человека и кого же выбирает — курдючную свинашку! А меня, первого друга, больше чем брата, знают здесь в темноте! Так вот и ударю две пули — наповал.

Когда я сияющий, держа в одной руке чемодан, в другой — руку невесты, расквашивался с ним, вместо носового платка, которым махают уезжающим, он вынул браунинг. Я моментально протрезвел и отчетливо понял, всю опасность своего поступка с точки зрения ревнивой юношеской дружбы. Я выпустил руку невесты и чемодан. Алешка опустил браунинг. Мы долго и пристально посмотрели друг на друга.

Вернувшись домой, Алешка хотел застрелиться и оставить мне записку, полную укора. Кончилось дело тем, что он горько заплакал.

В законченном железнодорожном деле с разбитыми окнами, и которые влетают и вылетают чумазы голуби, ища тепла, Алешка получал первую квалификацию. Работая, он тосковал. Все друзья по комсомолу разбегались. Казалось ему — делал большие дела. А он вот с паровоза грязь счищает, гайки утюжит нарезать. И за этим не видит никакой новой жизни. О своей тоске он несколько раз писал мне и врал письма, не отослав.

На два года я перал Алешку из виду.

★

В прохладное весеннее утро, когда воздух краснопресненских окрестий весь напоен гудением аэропланов, я встретил Алешку с бумажкой адреналина в руке. Он искал меня. Мы бросились друг другу навстречу. Таким радостным я Алешку еще не видел. Майка голубого цвета, и та радостно высветляла белый воротничок из-под блестящей кожаной куртки. Мы расцеловались.

— Ты не сердись? — спросил я.

— Брось, — смутился Алешка.

Мы оба рвалились дружбе, умеющей побеждать все преграды. Сколько испытаний было предложено ей! Особенно со стороны Алешки. Он страстно верил в нашу дружбу, и в то же время безудержно прорывался в нем, как нарквы, сомнения. Я был интеллигентский сынок, он — уличный мальчишка. Я — лучший оратор и докладчик, он — не умеет сказать двух слов. Мной дорожила местная организация, как деловым и говорливым. Он ревностно любил организацию, но ничем особенным не мог ей этого доказать. И вся его дружба ко мне была смесь горячей любви и неопозданной ревности. В припадке этой любви он однажды взял и вывет кусочком проволоки у себя на груди сердце с нашими именами. В припаке сомнения взял и ни с того ни с сего вылил мне на голову ведро с мазутом сверху паровоза, когда я проходил с девочками к железнодорожному мосту, на долки.

Но даже такие испытания не могли смутить нашу дружбу.

Мы побеждали, взвизгнув за руки, по улицам Москвы, как было бедно купаться из накуреного уюта в речку Сорочку.

— А ведь я, знаешь, откуда — из Мурман! Ты там не был?

— Нет!

— Вот, а я своими глазами северные сивиние видел!

Алешка, лыкая, как победитель, рассказала историю своей поездки и работы на Мурмане.

— А теперь я в Баку. Хочу жаркие страны смотреть. А главное — нефть. Как ее добывают, как с ней обращаются! Дождался отпуска и на год поработал в новом месте. Алешкина живность зарыла меня. Я позавидовал его планам. Мы сходили в театр, в кино, в музей, словом всюду, как полагаются. И Алешка уехал в Баку.

И вот с тех пор, как только пригрет солнце, сойдет снег с московских крыш и зазеленеет причудливый кустик тополя, растуший в трещине стены, напротив моего окна, я ждал Алешку. Он никогда не писал. Появлялся неожиданно. Весь наполненный видным и желанием видеть новое и новое.

— Не в северном сивиние делю, — говорил он мне, — квалификация и почулки и везде теперь требуются. И на Сельмашстрое, и на Донуге! везде мне везде охота. Самому Днепроустрой охота строить, Керченский завод восстанавливать, железную дорогу в Сибири проводить.

Приехал он ко мне из Баку, держа путь в Ленинград, проезжал с Днепроустрой, направлялся на Урал.

Вот новый тип рабочего. Он не может записать в одном месте. Ох уж все хочет видеть своими глазами. Он хочет строить социализм и на Днепре и на Урале!

Мои радостные теории омрачились неожиданным осложнением. В одну прекрасную весну Алешка явился осунувшимся, полуревнивым. Уголки губ его опустели, как-будто он выпил стакан мировой скорби.

— Да что, — махнул он рукой на мои рассказы, — сам понимаешь, мотаюсь из стороны в сторону... Там за одной пригородной, здесь за другой. Ну и нараваюсь... Нет ни у тебя хорошеющего врача?

В это прощанье мы с ним не расцеловались, как делали обычно. Алешка стал взрослым.

Следующее появление Алешки было шумное и разухабистое. Зимой. Часа в два ночи. Появился не один. Он полубежал в объятиях низкорослого, испитого юноши с большими сивиниями оттопыренными ушами. Несмотря на равную степень объяснения, юноша стоически держался на ногах, в то время как Алешка бляшничко качался от каждого ветрака.

— Это друг, — рекомендовал Алешка, — это такой друг, кого хочешь убьет, зарежет! Только скажу — пши! Нет, у тебя таких друзей не было...

Друг подтверждал его заявление, делая страшные глаза. — Нам что, мы вольтные звезды, то есть... мы пинцы... мы в одном месте отпусковые забрали, в другом подменяем... Хочешь колышку? Хочешь килек? Сардинок? Гиппопотамов!

Юноша молча вытаскивал из кармана в виде иллюстраций к словам Алешки коньяк, кильки, сардинки. Гиппопотамов изображали огромные огурцы.

Юноша, которому было не больше семнадцати лет, оказался действительно героем. Он молча и сосредоточенно выдержал половину всего черного как смоль чуба, спавшего ухарски на глаза, и поддал в знак преданности Алешке. Затем вынул из кармана вынул и вырезал на обложку своего паровоза. Под концами он вынул оставшийся сок от сардинок в корбочку из-под килек, в эту смесь налил оставшийся коньяк и так же сосредоточенно и молча выпил. Такая прожорливость у от него не ожидал.

Эту устную пивяку я долго и мучительно отрывал от Алешки. Я увез Алешку в один подмосковный колхоз-коммуна в Бузьвалю спрятав от преданности нового друга. Вместе с сивининой отравой я стал выкалчивать из него отраву другого порядка.

В коммуна был ряд замечательнейших вещей. Старинный дом. Груд, в котором зимой на блесну шли огромные окуни. Парк, сливающийся с лесом, где водились тетерева и зайцы. Самое главное, была в коммуна замечательная молодежь.

День, наполненный работой, не мог поглотить всю ее энергию. Вечерами мы катались на лыжах. Ходили в лес и доводила засмивались на занятиях кружка.

В один из вечеров я рассказываю в дискуссионном порядке грустную историю летуна Алешки, не называя его имени. Какая пошла история! Все было бурно, похорошелись звуки. Алешка то бледнел, то краснел. Он окончательно расстроился, когда выступила Катюша Полякова.

Кате шестнадцать лет. Она полна серьезности. Выросла она в детстве в пионерской коммуне. На вид она хорошенький и нежный человек, а по положению важный человек в колхозе: за яслими. Я всегда любовался ее детской серьезностью. Все кому-то любила и оберегала ее. В ней было столько детской прямоты и нежности, что даже умурый и всегда на что-то сердитый председатель коммуны расхвастал в улыбку, когда она появилась. Каждый новый человек, приехавший в коммуну, попадал под ее заботливое шефство. Она сделала, чтобы ему положили матрац со свежим сеном, дами бы чистой простыней. Ее подшефным оказался и Алешка. Она учила его ходить на лыжах, ловить на блесну окуней. И теперь Катя Полякова выступила с предложением:

— Такой летучий кадр гнать надо из комсомола!
Расстроивший Алешка долго не мог заснуть. Притворившись спящим, я с удовольствием наблюдал запаздывае угрозыдения его совести.

Через несколько дней я уехал. Алешке поправилось в коммуне. Он остался починить им кое-что из позамонного инвентаря. Довольный тем, что спас и направил на путь истинный своего друга, я и подумал не мог о несчастии. Оно свалилось на мою голову, как ледяная сосулька с московской крыши. Мой друг пошел меня посылать в коммуну. Он ушел в неизвестном направлении и сумел захватить с собой Катю Полякову! Так оказался я в роли наводчика и сообщника в этом противном преступлении, возмущившем всю коммуну.

— Ты не вдумай, — грозил мне кулаком, чуть не плача от злости, председатель, — не вдумай, не вдумай своих привидений! Они пионерку у нас воровать начудят!

Я был обижен не меньше председателя. Я забыл, что Катя выросла не в теплице семьи, а в детдоме. Воспиталась в пионерской организации, была не просто Катя, а за яслими. Для меня все это пошло на смарку, и показались Катя простой девочкой, соблазненной по давнишему шаблону.

Высокий волежкий пародок подошел к Сталинграду. Навдвину на глаза кепку, я стоял у поручней и вглядывалась в очертания парадского Вердена, окутанного синим дымом жары. Об этот город когда-то разбитыми пощича белых армий, теперь в нем идет сражение большевистских ударных бригад Тракторостроя с российской отсталостью. Завтра — это город торжествующего социализма, величайший порт у ворот Волго-Довского канала.

С полнотой вопиющей и вглядывалась в очертания Сталинграда. На пристани играли музыка. Колонна молодежи, одетой в большинство в юнгуштурумку, провожала отряд такой же молодежи в юнгуштурумку, с записными мешками за плечами. Они наминали отряд особого назначения, посылаемый на ударный участок фронта. Это так и было.

Несколько ударных комсомольских бригад, построив Тракторострой, ехали строить Магнитогорский гигант.

Я задумался над новыми формами труда, которые стихийно рождаются навстречу строящемуся социализму, и прозелав время выхода с парохода. Валюша вошла новой посылкой. Досадил на себя, я остановился у схода, машинально разглядывая встречную толпу. Вдруг в глазах у меня потемнело.

Не пытаюсь увидеть за углы, спрятаться за спинами людей, прямо на меня, улыбаясь торжественно шел Алешка. Я отсутствую несколько шагов назад, на ходу отстегивая ремни записного мешка. Я почувствовал себя моложе на десять лет, обратившись одним желанием: дать Алешке настоящую олеуху. Авансом перед объяснением.

— Без паники, без паники! — предупредил Алешка, поняв мое намерение, — сейчас все объясню! — Рука моя невольно опустилась. Рядом с Алешкой, так же торжественно улыбаясь, выступала Катя.

— Мы ударник, понимаешь, закончили Тракторный, теперь на Магнитогорский. Помнишь, про стеклянную крышу зимой писали, в тридцатиградусный мороз девять часов остекляли? Так вот эти самые руки стекла-то вставляли!

Алешка с горделивой нежностью преподнес мне на своих жестких ладонях две маленьких загорелых Катиних руки.

— Это что ж, — захихикал я, — теперь вводем детаете?

Алешка покраснел, как от пощечины.

— Брось, — сказал он, — возьми слова обратно. Здесь линия совсем другая. Здесь я не самочиню. Нас общее собрание ударников выбрало. Едем наши темпы на Магнитогорский перестрой.

Я молчал.

— Может, тебя подьемные, суточные интересуют?

— Алешка брезгливо поморщился:

— Обратись в завхозу и касиру нашей коммуны, к Бабенчикову. У этим не ведую...

Ошумевший свисток отплатить прогнал меня с парохода.

Перегнувшись через перила, обниму руками я махал отъезжающим.

— Катя! — кричал я, — выношу тебе благодарность не только за стекла, главное — за Алешку!

Пространство кипищей воды все увеличивалось, пародок круто развернулся всем своим громадным телом. Вихри сверкающих чашек стали скрывать от меня пародку в зеленых юнгуштурумках.

*

Так из словоч воспоминаний о друге получился рассказ. Я и не хотел в нем ставить каких-то больших проблем, а просто захотел описать моего конкретного Алешку, непонятного мне самому. Мне думалось, после этого я лучше пойму его. И вот вчера рабочие-ударники завода им. Маленкова, пришедшие в литературный кружок, чтобы затем войти в литературу, попросили меня прочесть что-нибудь новое. Я и прочел рассказ про Алешку. Вот отрывочная стенограмма обсуждения.

Копинок. — Зачем поехала Катя с Алешкой? Неужели только из-за любви? Это мне обидно. Может быть, не хотела она человека потерять, хотела полезным его сделать. Пусть-ка автор здесь объяснит.

Спивак. — Тема была взята большая: как передельвается из летуна ударник, — один он начинает загибать, а в коллективе исправляет. Только вот беда, как это делается — и не показано. Как он исправлялся, Алешка, — этого нет. Может быть врет он, что ударником стал, не имеет он права на доверие одним его словам. Будь здесь это показано, был бы действительно рассказ.

Семенов. — По-моему, в колхозе Алешка себя понял, когда его крыть начали. А как попал на стройку, где работа боевая, так и окончательно выправился. Конечно, и девушка могла полюбить. Но в общем расширить надо.

Ошанин. — Тема взята интересная, как новые формы труда могут передельвать людей. Беспокойный Алешка — и тому есть место, где он может быть хорошим членом рабочего коллектива. Но вот как это делается — не показано. Не на работе дается человек, а отвлеченно, отрывочные встречи один.

В том же духе высказывались и другие. Тесные рамки рассказа не удовлетворяли никого. Проблемы, которые возникали по его поводу, были так велики и интересны, что рассказ показывался мне жалким уродем.

Мне самому было не менее их интересно — как же произошло это новое изменение Алешки, проданное жизнью. И вот я написал письмо Алешке. Ответ его мне хочется поместить без изменений:

«... Тебя интересует, как это я превратился из грешника в святого? Очень у нас любит так вопрос ставить. Не отвечаю ни, эти вопросы, настоящей жизни. По-моему — вот тогда, когда я пил, был грешником, а теперь, когда в коммуне да в ударной бригаде — святым стал. Вроде как подвизник. А я и скажу, никогда я так не мучился и таких настроений не переживал, как в те поры пьянства. Чувствую, понимаешь, что не по мне это, так, а не найду для себя настоящей рамки. Охота мне разные заводы посмотреть и что вокруг них... охота, не скрываю. В то же время производство люблю.



нигде я о себе плохой памяти не оставила. И опять же начинаю за собой замечать нехорошие уклонки, как-то само по себе, подъемные, отпусковые,—терпится, понимаешь, совесть. Я очень тогда расстроилась и хотела навсегда и калюжею ослепеть. Тем более в первый раз я поучивала девушку не только любовным взглядом, но и подлинно сердцем.

Захотелось нам обоим зажить заново. И тут как-то хочется жить начинать по-новому, на новом месте. А мне еще квалификация была жалко. Ведь я сложнее станки могу устанавливать. Так мы и попали на Тракторострой.

Стали я работать по установке станков в бригаде тов. Говоркова. Сюда же и Катюшку звали, чтоб помогала и училась.

В колхозе я была, знаю: каждый паунок, не говоря уж трактор, там радость делает. А к тому же я пера колхозом в долгу. Ведь я у них Катюшку переманила. Никак этого сомнения заглушить не могу. А если, думаю, раньше срока завод кончим, раньше положенной станки установим, раньше на нахальный сезон тракторы дадим—простит мне Катюшка?

Вот до чего загорелся этой мыслью—стал часами пытаться. Спрашивают Говоркова:

— Чтой-то у тебя парень худеет, не по дням, по часам.

— А он, отвечает:

— Он у меня не хлеб, а часы ест.

— Как так?

— А вот американцы предлагают станок установить не больше чем в 180 часов. А Алешка часов сорок, а то и шестьдесят съест. «Установим ребята в 120!» «Установим». И видишь—вот он, станок, установили. Комиссия осматривает.

Из ударных бригад наша не хуже других была. Только станки замечать—слабеем.

Пришел раз Ванюшка Козирев на работу, а глаза какие-то не пристальные. Нет в них устремления. Хочет винт завернуть—рука срывается, хочет по костылю ударить—киво бьет. Говорков его одернул. А Ванюшка вдруг подошел, да шопотом, чтоб другие не слышали:

— Товарищи, у меня сил нет... выработался!

Оказалось, парень с самого начала стройки едва ли два раза горячую пищу видел!

И тут все вспомнил про свои худые щеки, одрябшие мускулатуры рук.

Неужели из-за проклятых щей мы из общего строя ослабеем?

Устроили летучий митинг между собой.

— Я не осмелю,—говорит Говорков.—У меня жена и теща, есть кому в очередях стоять, есть кому стирать.

Здесь все зашумели. Не у каждого теща. В результате обширной дискуссии повисла лозунг—работать вместе и жить вместе. Стали выдвигать проекты. Все за коммуны, один Говорков благодаря теще в весе пойти не может.

И вот зажали мы в коммуны. Специального захарова и хасирира завели. И приобрели общую тещу, пожилую бабушку, но стирать отдельно. Стали немного оживать. И вот уж чужое дело у нас лучше других идет. Потому что мы не только на работе, а и дома, за обедом чаем, ужином—все сговариваемся, как нам что лучше сделать, где способней изловчиться.

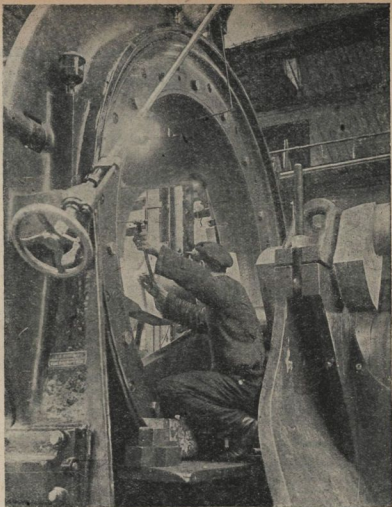
Вечерами чертежи разбираем; раза два к нам инженер в гости зашел...

И в конце-концов отстал от нас сам Говорков. Теща для него камнем влялась. Наш молодой мастер Баканов лучше его стал обо всем соображать. Настроения пошла у Говоркова, и он от нас ушел в другой цех.

И вот мы так организовали свой быт, что жизненные наши заботливости нас не догоняют. Почувствовали облегчение. И здоровые все стали, розовые, как американские мастера. Утром, как нормальные люди, съедали по несколько яиц, молоко пили, а перед тем под музыкальное радио фазарядку производили.

Да ты на пароходе сам меня видел, не похож я на сухохавого святого подлинника.

Ну что еще? Про Катюшку? Катюшка ничего. Катюшка тебе руку жмет и все над тобой посмеивается.



РАЗГОВОР С МОИМ СОСЕДОМ

Игорь Строганов

Жизнь—быстрее с каждым годом, Жизнь моя
Слева—грохот, справа—стук... И кровь моя!

В унисон таким погодам Я мушкетер и расту.
Все так ясно, все так просто Это—век! Это—разбег.
Был вчера еще подросток, Нынче—взрослый человек.
Голос креншет, и при этом Прорастает борода...

Разговор с моим соседом Я запомню навсегда.
Где ему за мной угнаться! Он спросил меня, сосед: «Сколько лет тебе?»
«17».
Чем ты удивишь? «Я—поэт!»

Он глаза свои приподнял, Заулыбал, присел и вот— Я узнал, что он сегодня 20 лет как световод.
Чем он был и чем потом стал, Жизнь ничем не замкнута,
Что растет его потомство, Оттесняет его жена.
Сколько сахара и мучки Подзапас за прошлый год.
От покупки до покупки— Что он ест и что он пьет.
Что за степной арыет дочка— Дочка в расцвете лет... Я сказал:

«Довольно, точка!»
«Уважаемый сосед»
Замолчал
И встал невольню.
Я любезно буркнул:
«Сядь!»

Слушал я тебя довольно И хочу свое сказать.
И к нему подошел ближе, Что сказать ему мог я?
Если бьется
Если брыжжет

Жизнь моя
И кровь моя!
Говорил, должно быть, пацок,
Что таким вот места нет...
О сметане, о знохе,
О муке и о стране...
Он сказал, не скрыв зависти: «Положи, поэт, ответ: Для кого и для чего ты и о чем ты? Хочешь петь? Чем ты Обо мне сказать особо, Вот я здесь усеял весь С титулованной особой Говорить имеешь честь. О лустом доводно—багаи! И ногою растереть! Титулом титузаста... Я богат и тем горжусь! Я дерусь за это даже, За пластом беру я пласт. Обо мне знакомый скажет: «Строганов—интузаст...» Я дерусь за это даже И замолкну у побед, Зеркалом многотиражек Отразил тебя, сосед». Он ушел, взглянув несвесно, Что сказать ему мог я? Если бьется, Брыжжет если Жизнь моя И кровь моя!



ние комсомолом (власти решений ЦК ВЛКСМ) о массовом рабочем контроле над потребленной работой в комсомольских организациях так, чтобы она была одной из главных задач в роли застрельщиков рабочего контроля и общественной пролетарской помощи для своего массового практического завершения. Пролетарские комсомольские организации машинного реверсанта, от налетов и активному содействию и операции в разрешении изводства и заготовки овощей, мяса, молока и др. сельхозпродуктов широкого потреб- и духом в кооперации.

П И Т А Н И Я

Фото Е. Игнатович

10 сентября столовая начала новую жизнь. В 11 часов вечера перешла смена рабочих в большой чистый светлый зал.

Высокие столбы оштукатурены красными полотнищами. Симметричные ряды столов блестяще белены. На каждом столе цветы. Рабочие — впервые без очереди, без давки — спокойно садятся за стол. Приборы, хлеб и кастрюля с супом для восьми человек, уже приготовленная заранее. Они едят с огромным удовольствием; играет оркестр, и в лицах старейших обеденных ветеранов, бокалах с брызгами тарелку шей в старую столовую улыбки. Быстро принесли второе, а компот уже стоит на столе. Его подали одновременно с супом — он ведь не стынет.

В пятнадцать минут обед окончен. Подъезжает тележка, увозит грязную посуду. Быстро убирает стол уборщица, и другие восемь человек занимают места. Они довольны, нет трепки нервов, в столовой чисто, обеду вкусен и нет в супе бечевки и медных сполохов. После обеда можно идти в библиотеку, в читальню — она рядом, можно слушать выступления на эстраде. Можно идти к себе в цех, в красный уголок и беседовать там за чашкой чая — ведь во всех красных уголках теперь устроены буфеты. И когда кончится час перекура, со снежинками к станку, дать темп! Ведь теперь ударный квартал, а завод шагает вперед.

— Обед перестал быть тяжелой обязанностью. В столовой приятно посидеть.

Так говорят рабочие. Они вместе с работниками столовой заботятся о том, чтобы обед перестал быть тяжелой обязанностью. Предлагают поступают к администрации десертками. Каждый день рабочие идут к администрации и указывают промахи. Вот какие предложения поступили 24 октября.

— Нужно колесо тележек обтянуть резиной, а не то в зале очень шумно, когда их возят.

— Почему нет на каждом столе графинчик? Надо их помыть!

В столовой стоит ошоло. Полазавальцы иногда ставят на него блюда, он от этого портится. Надо сделать для рояля чехол.

Оркечо у некоторых уборщиц халаты грязные? Надо следить за чистотой.

Вот так каждый день идут предложения, но ослабевает контроль рабочих. Поэтому хорошо в столовой.

Что делается на кухне, в цехе холодных закусок, наполненной зрелом салата и маринированной селедки, в суповом, где из огромных белых котлов со свистом, как из паровоза, вырывается пар, в кондитерском, выпускающем в сутки тридцать три тысячи вкусных пирожных, сладких румяных булочек, бронзовых от печного загара пирожков?

Там всюду люди стараются работать быстро и хорошо, там идет социалистическое соревнование и ударные бригады ведут за собой всех доволов, судомоек и уборщиц. Ликвидация прогулов, пьянства и опозда-

ний — уже пройденная ступень. Теперь главное — повысить производительность труда. Вот судомойки протирали в день 3 тысячи тарелок, а теперь больше пяти тысяч. Официантки подают обеды скорее, уборщицы тщательнее убирают столы, повара всесички стараются сварить повкуснее щи. Да и мойка посуды на кухне превращается в дело доблести, в подвиг, если люди выкинут в смысл социалистического соревнования!

— Жалоб на качество обедов уже давно нет,— говорит Райский, заведиректор.— Мы заботимся о снабжении, мы заботимся о том, чтобы мясо было.

В самом деле, что за ерунда — нет мяса? Вся мясо, все достанут люди, которые хотят работать! Директор тов. Марин уехал в Поволжье и оттуда телеграфировал, что подобылись и о мясе.

Завод уговорился с совхозом «Гигант», будет оказывать ему техническую помощь, а взамен будет получать молочные продукты. Тысячи литров молока в день будут получать амоники.

В столовой и в кухне все ответственно и каждый ответственный. Опоздали на пять минут с подачей компота — разносится по посуду тревожная весть:

— Прорыв!

Тогда собираются рабочие, завещами и ученики кухни и быстро выясняют, кто виноват. Затем все — и директор, и замдиректора, и заведующие — рассаживаются во кухне и столовой и общими усилиями анализируют прорыв: разный, разност, развозят компот на тележках.

Так работают в цехе рабочего питания. Слухи о великопозной столовой амоники разошлись по всему Советскому союзу. Приезжают делегации из Закавказья и Самары, из Можайска и Иваново-Вознесенска изучать ее, изумляются, пишут восторженные отзывы и уезжают, чтобы у себя организовать такой же цех, цех рабочего питания.

А главный повар Караваяв, толстый улыбающийся гудоглазый человек в белом халате и в берете, еще не удовлетворен столовой, как и все добросовестные работники.

— Надо лучше, надо скорее,— говорит он, оглядывая зал.— У нас много дефектов. Юльшие ответственности, больше организационности! С паром плохо — неравномерно подают из котельной. Мало оборудования. Скоро установим механическую печь для запекания и пудингов. Десять минут, и готов пудинг! Вот дела-то будут! А пока, я считаю, дела еще дехороши...

Ведь комсомольцы теперь серьезно занялись за улучшение снабжения. Столовая часто обращается в комсомольскую ячейку за помощью. Помощь приходит быстро. Вот комсомольская бригада привезла в кухню огромный котел, в котором уже варят целые горы картофеля. Комсомольский комитет взял шефство над свинарником. Три десятка свиней выкармливаются на отбросках кухни. А теперь нужно создать опощую базу, и это важное дело столовая поручает комсомольской ячейке.

Товарищ Караваяв, дела хороши, но дела еще лучше будут. Вот амоники возьмут всеобщее первенство, и тогда цех питания сможет сыграть:

— В этом и наша доля!



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 10%

СОКРАЩЕНИЕ БОЯ ПОИ НА 25%

ВНКУРЕ

11 НОЯБРЯ



щение столовой с виду непрезентабельно, зато обслуживающий персонал этот недочет ликвидирует наши снимки.





В ПОХОДЕ

Ал. Исбах

1. НА ДНЕВКЕ

В 16 часов мы на дневке вступили в село О. и расположились на отдых.

Отдых после тридцатиклометрового марша в боевой обстановке, когда где-то до приходится укрываться от самолетов противника, когда ожидание востроено боя и когда даже воздух пропитан боевой тревогой,—отдых был желанным и необходимым для восстановления сил.

Какое удовольствие снять пропаленный тяжелой сапог, размотать спавшуюся, слезавшуюся портянку и освежить ноги холодной, стужасной водой!

Какое удовольствие снять снаряжение, скатку, шинель и растянуться во весь рост на душистом сене, растянуться так, чтобы хрустнули кости и лежа смотреть в высокое просторное небо!

Какое удовольствие набрать во флагу колодезной воды и пить безотравно, без боязни опорожнить всю флагу и не оставить запаса на дальний и тяжелый путь!

Но еще большее удовольствие узнать о том, что в твоем отделе нет потерь, что твое отделение с честью выполнило один из главных показателей договора маршевого соревнования между отделениями, договор, который был подписан еще до похода.

И отдых становится более приятным от сознания, что он вполне заслужен.

И в каждой избе слышится громкий смех, говор, шутки любителей, молчаливых несколько часов под ряд и собравших большую запас невеселых мыслей и слов.

Отдыхает полк. Весь ли полк? Не будет ли это слишком большим обобщением?

Вот уже у церковной ограды раскинула свои палатки клуб, и на самой ограде пекут плакаты и о Красной армии, и о колхозах, и о наших затруднениях. Вот уже возле клубной повозки собираются крестьяне и помначклуба дает им справки по всем вопросам.

— Товарищи, знаете ли вы, почему у нас нет мануфактуры? Не знаете? А ну, слушайте.

— Товарищи, знаете ли, зачем мы производим манеры? А ну, я сейчас расскажу вам.

Большой специалист этот помначклуба, пришедший в полк из деревни два года на-

зад и сам получивший тогда «справки по всем вопросам».

Большая голова у помначклуба. «Не голова, а целый габуос», как говорят красноармейцы.

Да он не один, помначклуба.

Вот уже группками собираются красноармейцы и крестьяне, и в каждой группе жаркий спор.

Вот красноармеец с двумя треугольниками в петлицах — большой командир, отделенный командир. Командир что до доказывает крестьянам.

Позвольте, пожалуйста! Да это, кажется отделком 4 — Петренко. Тот самый, который произвел героическую переправу. А ну, послушаем, что говорит Петренко.

Крестьянин с большим шрамом через всю щеку, с бегавшими мышиными глазами и в высоких сапогах кричит:

— Пользы от вашего колхоза! не вижу. Нет ничего. Чоботов нет, махорки нет. — Не так же, дядько. Та вы ж поймите, — доказывает отделком, и лицо его становится озобоченно-упрашивающим.

Весь так важно убедить этого собеседника, так важно доказать ему.

— Та вы ж поймите, что коллективные хозяйства во много раз лучше и хлеба больше дадут. А чоботы будут. Да вы, дядько, раньше ходили в таких чоботах, как сейчас? Не ходили. В колхозных штанах ходили, а теперь гвалдите—во мак.

Крестьянина отнесает другой, худой, с длинным острым носом, в штанах, сплошь составленных из заплаток, и боеой. Он кричит обидным и злым голосом:

— Вот они, штаны ваши, вот они, ваши чоботы... Прессельсчета плет только, нас гоняет от себя, а мы во как ходим...

Крупные капли пота выступают на лице отделкома.

— Та вы ж не так, дядько, не так... Та вы же поймите.

Его вырывает крепкий черноробордый мужик:

— Та ты ж, Грицко, эти портки специально для спору надел. А вчера у меня гостевал в ладных чоботах. Ох, хороши чоботы... Кругом смеются. Спор продолжается. Пересе же вино на стороне красноармейцев и поддерживающих их сельян.

А рядом другая группа, третья, четвертая и всюду спор, расприсы, объяснения. И слышен громкий голос помначклуба.

— Кто хочет читать, берите журналы. Об авиации вот, об химии, об колхозах, о чем хотите...

И застенчиво подходят девчата и берут журналы с раскинутой по земле палатки.

Полк отдыхает. Да полно?... Весь ли полк?

— Вот в одной избе склонились над обрывками бумаги головы красноармейцев. И в эту избу то-и-дело вбегают стражи и, отдав калоч бумаги, выбегают обратно. Здесь ротная редколлегия срочно готовит многотиражку.

Надо осветить ход марша. Как прошло соревнование. Как дисциплина на марше, как маскировка.

Все это покажет договор.

Небось, во 2-й роте тоже делают многотиражку, и надо опередить, надо и здесь взять первенство. Ведь первая рота ударная. О, и знаете ли вы, что такое ударная? О, этого так скоро не объяснишь. Да и некогда объяснить. Так мало часов отдыха и так много работы!

Вот в сельсовете беседует секретарь ячейки с прессельсчета.

Как хлебопаштовки и как дела с колхозами и как кооперация...

Вот в избе, где расположился штаб, склонились над картами люди с белыми и синими лентами: командиры и посредники изучают план будущего хода маневров.

Вот на дворе на кадуш собирались 3я рота и обсуждают новые бесчинства на К.-В. ж. л.

Вот киноеханик готовит аппарат. Эге, значит, кино будет вечером. Знатное дело это кино на отдыхе. Хотя ежeminутно вращается лента и хотя механик то вскачь, голопом пухает отдельные кадры, то движет их со скоростью хоза второго разряда—все равно глядят с интересом и тут же всаух критикуют и обсуждают.

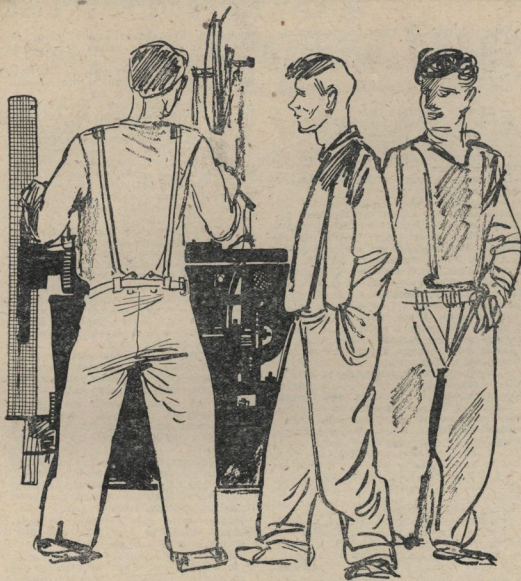
(Кстати сказать, картинку Союзкино могло бы подобрать получше и поновее.)

Вот уже на площади собирается митинг. До митинга—двас. Развиваются полковые гармонисты, будто тоже соревнуются друг с другом. Играет оркестр. И вдруг выступают пары.

Красноармейца ловко подхватывают девчата и носятся по кругу.

А в самом центре маленький очкастый полтурок 3-й роты плещет с высокой плотной сельхоза, возбуждая дружный смех и ехидные возгласы своих товарищей.

1 Из серии очерков «Ударники», которые будут печататься в журнале «Рост».



стала большой и пустой, лишь с боку кровати на стене Шурика видел отрывной календарь с легкой цифрой—одиннадцать, деве календаря портрет какой-то барышни в шляпе, похожей на распущенный индийский хвост. Барышня была кривая: один глаз запырнула с Шуриком, а другой упрямо и тупо смотрел на календарь. На календарном листке была тоже чей-то портрет. Шурика привстал с кровати, дернул его и с закружившейся сразу головой упол успокоился.

— Одиннадцатое. Это кто? — Шурика всматривался в узкое лицо на листке календаря, не обращая внимания на надпись сбоку. На обратной стороне под ряд на трех листках были стихи, и Шурика сразу отыскал три числа. Стихи были простые и хорошие. Прочитав их дважды, Шурика вспомнил, что когда-то он сам брались за это дело, но ничего не вышло, и все благополучно забылось.

Сестра еще раз смерила температуру. Потом очень ярко в Шуриковой памяти прошли года пребывания в деревне. Там умерла мать. Ее хоронили соседи, и Шурика с сестрой в это время были в попе в кухне и ели гречневую кашу... «Сколько мне было лет?... Тридцать... тридцать... тридцать...»

У дверей он услышал очень знакомый голос. Сестра отвечала голосу:

— Тридцать девять и...
«Верно, — вспоминает Шурика, — ей было тридцать девять лет... Но... кто же это разговаривает с Лидой?»

— Лида!
Сестра торопливо показала в двери.

— Кто там, Лида? Я никак не узнаю, но голос ошень...

— Это Августа Сергеевна. Сейчас она посмотрит... — За сестрой стоит мать. Она в белом халате, пополившая, на губах небывалая успокаивающая улыбка.

С ней разговаривала Лида. Неожиданно вспомя слова сестры, Шурика удивился: «Ведь мать вовсе не Августой Сергеевной, а Прасковей звали...» И, догадавшись, улыбнулся: «Она, чай, делегаткой выбрана, а к делегате никак Прасковья не идет. Они вышли».

Голова горела попржему, горели ноги и в горле что-то давило и мешало глотать слюну, липкую и больную.

— Тони! — заорала Шурика — Где ты? А-а-а... С Женькой. Вот как... Скажи ребятам, хоть ради бывшего всего, дружки найшей, что я в цех не придю... Я заболел... Женька подтвердит...»

За стеной послышалось мягкое чопанье: Лида вошла в ночной короткой рубашке и, оторвав Шурику от окна, закутала одеялом.

— Что ты, Шур... Простулись так... Ты принял порошок. У тебя большая температура — тридцать девять и пять... Может свет захвезь? Я тебе почтаю, хочешь почитаю, Шурик?

Она ждала ответа, и Шурика, смотря ей в глаза, нашел, что и у Тони такие же вишнево-черные глаза.

— Я... я... завтра на работу не иду... Делать прогую...

— Какой прогую? Тебе врач больничной лист выписал. Шурик! Августа Сергеевна для лия велела лежать — четырнадцатого пойдешь...

— Как? Разве... мама... врачом стала?

Она поняла вопрос не сразу.
— Да... да... Шурика... но... она ведь давно... Спи, Шура, спи! — И дверь приоткрылась за ней.

Бесед за этим возле кровати кто-то двинул стулом. На своей руке почувствовал Шурика мягкую ладонь и в черной невидимости голос:

— Здорово, Санка!

— Лаврович? Ты?

Стулом, оказывается, двинул Алостоа. Темнота уж не мешала Шурике видеть — он глядел прямо в красное лицо Лавровича. Они ни о чем не говорили: Алостоа окмелено смотрел на Шурика, а Шурика прислушивался к умовающему гулу часа, к замирающему пыланию виской и затыкала.

3

Вероятно Лида повесила календарь на прежнее место. В соседней комнате вставала сестра, через стенку в чужой квартире рассердился и нервно зашнел примус.

На полу валились порошки, упавшие ночью со стола. «Ах да, это доктор ночью приехала, а-я, кажется, бредил я... Да! Ведь четырнадцатого она велела идти на работу? — Число со стенки подтолкнула Шурику, он быстро и шумно привстал, отыскивая белье. Лида услышала из-за двери шум и вошла.

— Что ты ищешь, что с тобой?

Но белья нигде не было. Под руки попадались старые газеты, носки, неадекватная засасыва бумка.

— Да что с тобой?

— На работу, Лида, неужели не поймешь, забыла число? — рассерженно кинула Шурика.

Лида взяла его за плечи и откинула на кровать. Мовня натянута одеяло, колотула, как маленького со всех сторон и, грозя пальцем (совсем как ребенку!) от двери, сказала:

— Ни-ни... Выдумал же! Четырнадцатого подползай!

Женька Постников изнывала. Комсомолец-автоматчиков он нигде не находил в цеху. Обескураженный и потерявший все надежды, он прилепился в цех и встал, садясь за выходящими.

И комсомольцы вдруг нахлынули разом.

— А! Женьке от международного пролетариата!

— На кого покушение готовишь?

— На кого — не знаешь? Белье...

— Извините! Извините! При чем здесь дечка?

— Ясно!

— Дело есть, ребята, — остановил гурьбу Женька и отвел от проходной. — Такое дело: кто из вас на автоматах?

Отвечались трое: Денисок, Астров, Яна Горин и Барынич. Первые работали в ударных бригадах, отрывав их оттуда Женька не решился и оставил Барынича.

— Санка Осипов снапился, — сказала ему прямо Женька, — сестра сейчас поговорила. На тебя, Барынич, вся надежда, встань на его автоматы, поддержи...

Тот замисля, переспросил:

— На меня? А... другого кого нет разве?

— Отказываешься? — резко и сердито переругался Женька.

— Да нет... Барынич мялся... Да нет! Коли по уставу... Дисциплина... Да... я ведь в декретный иду... отпуск...

— А-а-а... сокручено протянул Женька и бросил через плечо: — Так сразу и надо было... А то... забавал...

Молодецкая табельщица надлинула на доску с медными четырехугольными сетку и скрепила всеслепным замком. Цех гудел. Шуриковы автоматы оспиротло жевали.

По обыкновенно своему Алостоа был не бывало медлитель. Он вперевалку, смешно для его выправленного тела, ходил у автоматов, с большим знанием дела налаживая

часть: упор, наладившая конус резцов, переточила на всех четырех резцах и сверла.

И тогда цех заговорил...

Сухощавый Михайлов, услышав от голоругого, в красной майке, Астрова, что Цыганка Осипов свалила в лихорадке, что на его место по своей охоте встал полз Лавронич, вынырнул откуда-то саади и с отеческим сожалением посмотрел на вспотевшего Сеньку Клюковина. За ним поспешил ериловосый Клим. Клим прошелся медлительной походкой, будто ничего не зная, спросил Апостола:

— А... Сашка где? На работу не вышел... ударили что?

— Я за Сашку! — ответил тот ему.

Клима вертелась возле него, то с одной, то с другой стороны и поддувала: — Ты теперь Сеньку к ногтю! Сеню Клюку надо раздвинуть! Сок наружу пусть! — и просыпал выгильный смех.

Затем Клим направился к Сеньке, точно как бы повертелся возле него, качал что-то головой и укоризненно смотрел в сторону Апостола, но Апостол ничего этого не заметил.

К Сеньке изредка подходил Соколовский: его автоматы стояли следующими за Сенькиными. Миша долго и надоедливо шептался с ним, потом пошел в кабинет мастера и робко передавал ему свои планы. Павел Андреевич слушал его терпеливо и, дав кончить, сказал, не сдерживая обычной досады:

— Иди-ка к автоматам! Если ты так будешь бегать — швах твоим планам. Иди-ка, иди...

Сварочное отделение, в котором работал Жецька, было рядом с цехом. Работа сегодня была легкая. Жецька делал ленту для регулирования хода державки у автомата. Работа не заставляла много думать, оставалась только подчистить и отшлифовать немного — и лента будет готова.

Ученик слесарь Петрюков принес из цеха сообщение:

— Постников, там Апостол на Сеньке Клюковича верхом катается!

— Как катается?

— Рабочие на листе нарисовали так. Верхом! А у Сеньки из глаз — река, разлив.

Жецька не дослушивал уж дальнейшего описания картины, откинул ленту на верстаки и, не убрав инструмента, пошел в цех. Там он прошлепал по всему цеху и ни с кем не заговорив, пришел обратно.

Мимо отделения прошла Тоня. На окрестности Жецька оглянулся, но, увидев Жецьку, подошла.

— Что старенького скажешь?

— Ничего не слышала?

— Ты еще ничего не успел сказать...

— Сашка скалустился. Лихорадка. То есть не скалустился, — торопливо поправился Жецька, боясь, что Тоня может иначе понять это, — а заболел...

— Опять ты... с... ним... Старо уже, Жеця... она повернулась и так, стоя спиной к нему, тихо и взволнованно перешептала: — А... ты это верно... что... лихорадка-то?

Гудок заглушил их слова, ворвавшись в распахнутые окна.

В обед ребята остались в цеху. Жецька размакала карикатуру на Сеньку и Апостола и сорвала ее. Мастера дождался целых полчаса; лишь с гудком показался он в проходной, за ним шли Соколовский и Сенька.

В кабинете мастера не было ни одного стула, и все уселись на низкий пустующий стол.

— Ну что ж, говорите! — нетерпеливо повернулся мастер.

Начал Жецька.

— Накладывается дело большое, Павел Андреевич... В роде инцидента какого. Получение **важ** разобраться в этом... Вот и пришло...

Яша прыгнул со стола, остановил шпатель.

— Чинш... Апостол за дверь прошел...

— Пускай! Ну и что ж? — удивился на него Жецька.

Засмеяли ребята, заспорили тихо и смешно.

— Давай и Апостола сюда!

— Что ты? Об нем говорить хотим, да и его. Собрания, нечего сказать!

— Лавронич! — выкрикнул за дверь мастер. — Иди-ка...

Приникли все сразу. И Жецька оживленнее продолжал:

— Прянильно. Садись, Лавронич. Один момент задержись, а дело серьезнейшее решим... Сенька! — обратил он свой взгляд в сторону Клюковина: — будь на-чеку. Вас с Шуркой по этому поводу ячеика выделяла... Срок был — пятидневка. Три дня впереди осталось. Чтоб вторично на бюро не пришлось вынимать — будь на-чеку. Сени. Так вот, ребята, созданнеее положение... мы знаем, скрывать тут нечего — не от кого и не стоит. И повторять его не стоит.

А прямо приступаю к конкретным предложениям этому делу. Я предлагаю... После него говорил мастер. Он во всем согласился с Жецькой...

— Постников говорил правильно... чего же еще... — закончила свои слова Павел Андреевич и подошел к списку ударных бригад.

Там сбоку, на желтом выцветшем листе, было написано: «В индивидуальном соревновании участвуют: Алекс. Осипов и Клюковин». Это он перечеркнул. И ниже написал: «Первая ударная комсомольская бригада в/цеха, входит в нее Лавронич, Осипов и Бор. Хмельников. Вторая ком. ударная бригада: С. Клюковин, Яков Горин, Соколовский».

И цех лучше заговорил...

Окончательное решение созрело в дороге. Сперва спорили в цехе: кого выбрать в делегацию с доносением об успехах Жецька, но по своей организационной и секретарской обязанности, проходила единогласно, но как дело доходило до остальных ребят, поднимался гвалт, бестолковщина — каждому хотелось идти, к Шурке.

И решили дунуть обоим бригадам. С Одниные уинцы до мелочей походили на другую. Кончили асфальтовые мягкие дорожки, продолженные у завода,

начиналась булыжная дорога, такая дорога, какая бывает в этаких городках на окранных улицах.

Иногда Жецька ближе подходила к шумливой группе, винучительно и тихо говорил им:

— Ребят... Какое дело-то сегодня сделали? А? Только впереди еще больше делов, вот как, ребята, мого, — и он проводил ладонью по шетинистому подбородку.

А его перебивали:

— Не агитируй! Знаем, Жеця... Это мы не комса, что ль!

Миша Соколовский убивался всю дорогу, что не захватили с собою Тоню.

— Не прогонит авось, — басил Хмельников.

— Ну не прогонит, а все примет нас не так, — не соглашался Миша, — одно дело насчет бригад очень хорошо, да если бы тут и Тоню — это вдвойне хорошо было бы!

По уличной дороге разбегались солдаты застрелено на макушках деревьев и на аркадах отсытены выглядывали из окон.

— Ребята! — остановил Жецька и, подбежав, уперся взглядом в Лавронича. Вгляд был пугающий и недоуманный. Потом, опустив глаза, он тихо сказал:

— А... там ведь написал мастер... «ударная комсомольская», — и снова всматриваясь в губы глаз Лавронича, помыслил голос, — а ты еще не комсомолец!

Все точно впервые узнали это и загадками вопрошали: «Правду он сказал?»

— Да... Еще нет... — тихо согласился Лавронич. — Ну, ну и что ж! Тогда буду комсомольцем!

Эта секунда была самой короткой за весь вечер. Казалось, что они шли попрех нему веселой, бузливой ватагой. Казалось, что Лавронич был комсомольцем с того года, когда покинул Львов.

— Меня даже дрожь берет... — говорил Жецька, — только не такая... не большая. ж. от радости, от успехов.

— От успехов! Верно, братва, — Хмельников перебил его. — Мы не хуже Шурки в лихорадке парились. Думается, ничего на первый взгляд, а подумается, и верно дрожь возьмет... Как никак, а такая, как наша — расплавленная лихорадка... Очень хорошо, ребята...

Темь шла быстро, ребята торопились, перегоном ее.



МЫ ЗАВОЕВЫВАЕМ КРАЙНИЙ СЕВЕР

Очерк Бор. Громова



15 июля в ясную солнечную погоду выходил дедоком «Георгий Седов» в большую полярную экспедицию на землю Франца-Иосифа и землю Северную.

Последняя остановка у таможенного пункта у Чижовки, чтобы распорядиться с первым и последним «кайзером». Его обнаружили совершенно случайно. В суматохе и постоянной беготне трудно было заметить нового человека, ибо экипаж плохо был знаком друг с другом. Красноокий крепкий штурман Ушаков, с трудом пробирался меж нагроможденных на палубе бесчисленных ящиков, неожиданно увидел в углу притихшего человека, с деланно равнодушным видом читавшего газету. На вопрос, что он здесь делает, неизвестный лишь смутился и покраснел. Так был сподстрелен первый «казяк».

— Ну, — зубоскал матросы, — началась охота.

Красавица Северная Двина развернула в широкую дельту. По обеим сторонам — низкий откос болотистых берегов. Вперед в легкой дымке тумана появились неясные контуры суша.

— Это социал-демократ, — смеется туманый коменгар, — лловучий манк «Северная Двина». А прозвали демократом его за надпись «С. Д.»

Все лето, не двигаясь, стоит это бурое вылившееся судно на якоре, служа пристанищем лодчанин, продолжающим пограничные лесовозы в Архангельский порт.

Уже с первых дней выхода в море жизнь на дедокоме стала входить в свою колею. Регулярно по склянкам менялись вахты штурманов и матросов. В один и те же часы на палубу вылезали, с наслаждением подставляя холодному ветру грязные потные лица, окончившие дежурство коменгари. И два раза в день настойчиво звал к гостеприимному столу кают-компания резкий звонок тоlstяка-буфетчика Ивана Васильевича, работавшего чуть ли не 20 лет на дедокоме, связавшего свою судьбу с ветераном «Седовым».

Хорошая погода не баловала нас ласковым вниманием. Уже на вторые сутки по

выходе из Архангельска широкая гладь Белого моря расчертилась суровыми седыми морщинами волн. Резкие шквалистые порывы нордогого ветра поднимали целые горы пенистой воды. Дедокол зашатало — началась явская качка.

С дикой злобой налетают на нас разъярившиеся волны, осыпая каскадом холодных соленых брызг всех и все, вплоть до высокого капитанского мостика. С тяжелым стоном валится «Седов» набок. В узкие проемы круглых иллюминаторов на мгновение показывается бледнозеленый изумруд воды и в тот же момент слышишь, как наверху палубу с грохотом начисто подметают забвешившие волны. Точно залпы орудий, бьют волны в железные борта судна. Ст грохота закладывает уши, рев атрофируется слух.

Из узких деревянных клеток, куда запирали 50 еловых самоедских лаек, несется огулашительный нестройный концерт: бедных псов заивают делание волны. Мокряе, продрогшие, выткнув головы вверх, жалобным, протяжным воем плачутся они о своей горькой собачьей доле. В стороне от всей стаи без движения лежит черная сука Милька, на-днях ожидающая большое потомство. Ее карие глаза беспомощно скользят по морской палубе в надежде увидеть хоть клочок сухого пола.

Наши собаки, прекрасные ездовые лайки, долгое время перевозившие почту на острове Сахалине, выданные непогоду, снежные бураны, вьюги и ливне штормы, на сей раз не вынесли качки. Новью, когда большинство членов экспедиции мучилось приступом гнусной морской болезни, они с бесшумной акробатической ловкостью просунули свои стройные туловища сквозь узкий отсек клетки и выпрыгнули на палубу. Ежась от холодных порывов ветра, тонким шорохом хороших охотников они быстро учуяли место, где были развешены копченые окорока. Началась охота за мясом. Резко отпрыгнув от пола, выткнувшись в стальную петлицу пружины, хватаясь они крепкими челюстями за окорок и, не желая расставаться с ним, асели, дрыгая ногами в воздухе, до тех пор, пока не отрывали кусок.

Всем было плохо. Кружилась налитая свинцом голова, хотелось спать, спать... Троек лошадей, бросив душистое сено, в ритм волнам пошатывалась с задних ног

на передне. Только 11 коров, были совершенно равнодушны к качке и с какими-то тупым безразличием продолжали пережевывать живучу, да голосятый петух, презируя погоду, сингал своей правой обязанности время от времени информировать экспедицию о движении суток.

Судовой врач Лимчер не вытерпел: его каюту, расположенную на корме, особенно, сильно качало. Забрав матрац, подушки и теплую авиационную шубу, он перекочевал на открытый воздух. Вскоре к нему присоединилась еще несколько потерпевших — наделен на перемену погоды, и капитанский мостик неожиданно превратился в своеобразный санаторий, приют обиженных и оскорбленных.

К полудню на горизонте показалась темная широкая гряда гор Новой земли. Еще через пару часов мы входили в Белую губу, чтобы принять на борт двух промышленников-зверобоев — будущих колонистов земли Франца-Иосифа.

Отбор лучшего стрелка и специалиста по уходу за собаками происходил в прокренной избе председателя новоземельского инспеккома, самоеда Ивана Вилки. Маленький, ширококостый, с черными точками раскосых глаз, он что-то запотел на слава понтоном языке, лишь смутно наловившем русский. С огромным трудом нам удалось его убедить в том, чтобы он вывел из промышленников для колонии земли Франца-Иосифа.

Несколько гортанных слов на непонятном языке — и два коренастых парня выступили вперед.

— Мы, товальяс, пойдем пахоедом, — репительное заявили они.

— А зены (жены) останутся годна без нас. Ницего, — как бы утешая себя, добавлял они.

Меня поразила та легкость, с какой согласившись они отправиться на совершенно неизвестную им землю на долгий год, покидая жен и детей. Ни одного лишнего слова, лишь несколько основных вопросов: каксе будет питание, снаряжение, жалование и все. Договор был подписан. Получилось впечатление, что люди едут не на тажедую



зимовку в Арктику, а куда-нибудь в гости к соседям, так километр за 5 от дома. В волдаса были собраны пожитки и оба прицепника, захвачены неразученные пилотки и небольшие кошелки, уже цагаки и поджидавшим их шлюпкам с «Седова». Крошечные раскоше кукулы-самоедки с резом кружились вокруг них, забегая вперед и цепляясь за длинные оленьи мадницы (самоедская верхняя одежда).

Илья Выха начал вечер воспоминаний о своих охотничьих приключениях. Рядом со мной за столом столетняя старуха, лицо которой представляет страшнейшую маску морщины, с остервенением тычется единственно удавшимся клыком отогнать кусок сырой рыбы. На полу у стены, закрывшись оленьими шкурами, под связками белоснежных песцов, вперемежку с собаками, посапывают прелестные малыши.

Мой хозяин тесно уговаривает меня ради торжественного случая поднести «заказку волдин». Его стриженная жена уже давно тупит какой-то бесконечный раскол о том, как ее храбрый муж Выха был белух на карской берегу. Я ее не слушаю, нет никаких сил. Многолетние грязь, тяжелой спертый воздух никогда не проветриваемого помещения гонит меня наружу.

Резкий порыв ветра донес с Белужей губы хриплый зов заждавшегося ледекола. В час ночи мы подняли якорь, распространились с Новой землей и взяли направление к цели нашего путешествия — земле Франца-Иосифа.

Едва за туманным горизонтом скрылись угрюмые, неприступные берега Новой земли, как нас опять зашормило. Собак пришлось в экстренном порядке убраться с явдубы, ибо некоторых из них едва не смыло бешеными волнами. У большинства членов экспедиции сильно пониженное настроение: бесконечно продолжающийся шторм разочаровал многих в прелести водного плавания. Лишь кинооператор Нарицкий в буйном, неуемном ганде возмущалась свою родную стихию. Словно метеор, носится он с аппаратом, фиксируя наиболее эффектные и редкие моменты. Целый день мы с надеждой поглядывали на горизонт: не покажется ли долгожданная льд, единственная спаситель, могущий избавить от бесконечной нудной качки. Но лишь к вечеру в дымке тумана появились отдельные белые пятна, а еще через пару часов «Седов» вошел в разрозненный блестяще-белый лед, который по мере продвижения к северу становился все плотнее.

Словно по чьему-то безомному приказанию смирились расходящиеся волны. Наступила абсолютная тишина, такая, что бывает в великих просторах Арктики.



В этом году мы встретили крошку льда несколько дальше, нежели в прошлогоднюю экспедицию, а именно: на 70° 22'. По мнению проф. Визе это обстоятельство указывает на факт захода теплых тесней голфштрема в Баренцево море. С севера несет нестерпимым хоолодом, точно заложили закрыть гигантскую форточку. Все неприятности и лишения впереди. Мы стоим у порога полной бесконечной красот заглодной великой Арктики.

Первый лед — первая охота. Не успели мы войти в крошку, как вахтенный штурман Хлебников сообщил о приближении трех медведей. Вскоре из-за торосов показались небольшие желтые пятна. Они все увеличивались, и скоро мы ясно увидели крупную медведицу и двух медвежат. Медведи до такой степени были поражены приходом судна, что не побоялись приблизиться к нему на расстояние 20 метров. Двое из них были застрелены выстроившимися на борту азартными охотниками.

Судовой «наркомпочтель», радист Гиршевич — любимец всего экипажа. Это он доставляет радость получению весточки с родины и поддерживает постоянную связь с берегом. Благодаря его станции, где бы мы ни находились — затерты во льдах или в открытой бурной океане — всегда имеем постоянную возможность списаться с далекой семьей. Гиршевич — зитуант своего дела. Посмотрите, как захватится его лицо, как радостно испыхивают и блещет глаза, когда он показывает вам свою гордость — новую радио-телефонную установку.

На круглых металлических часах черная стрелка медленно подбирается к цифре два. Сейчас начнется передача метеорологической сводки на материк. Каждый день ре-

гулярно в радиобудке появляется проф. Визе и приносит маленький лист бузани, исчерпанный столбцами непонятных многозначных цифр. И каждый день Гиршевич или его помощник Воронков посылают в туманную даль непонятные точки, тире, которые там, в Москве и Ленинграде, превращаются в стройные газетные фразы бюро предсказания погоды.

— Погода делается на севере, — говорит проф. Визе. — Знаю, какие изменения происходят в атмосфере арктических стран, нетрудно будет предсказать погоду и для СССР, ибо она в значительной степени зависит от состояния погоды на севере.

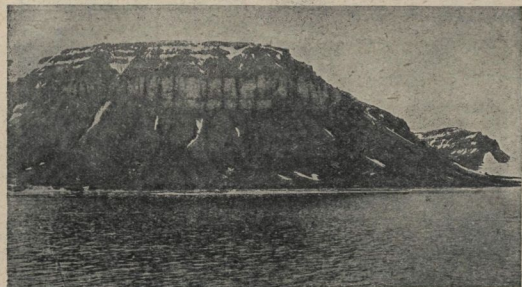
Проф. Визе рассказывает еще и другое: американцы благодаря широкой сети хороших налаженных метеостанций, следящих за погодой, ежегодно экономят свыше 200 миллионов рублей. Вот почему так интересуется центр наших радиосводки, посылаемыми непосредственно из места, где делается погода, так сказать из «кухня погоды».

Только здесь, за тысячу километров от берегов, бескрайней пустыней, только здесь по-настоящему понимаешь и осознаешь генеральное открытие — радио. И в самые тяжелые минуты, перед лицом опасности все же чувствуешь, что мы не один, что маленький аппарат не выдает и сообщает далекой республике о нашем горе и наших радостях.

И эта уверенность в силу и возможности радио поддерживает бодрый дух, заставляя спокойнее относиться к создаваемому положению.

Весь путь исследования беспредельных просторов Арктики усели трупами отважных зитуантов-исследователей. А ведь большинство из них можно было спасти, будь их корабли радиофицированы. Теперь, как правило, каждое советское судно, отправляющееся на север, оборудовано радио. Теперь не могут быть такие возмутительные случаи, какие были с экспедицией лейтенанта Георгия Седова, отправившегося в 1913 г. к северному полюсу, когда военное министерство накануне выхода судна в море запретило установку радио и тем самым поставило экспедицию перед фактом полной оторванности от родины и обрекло на мучительное, полное лишений страствование.

НА СНИМКАХ: На 17 стр. вверху — празднично разукрасенный «Седов» отшартовывается из Архангельска; внизу — слова профессор Шведт перед съездом в огромную трещину ледника закрывает веревочную петлю — рядом с ним профессор Самойлович; вверху справа — первые ледяные поля. На 18 стр. вверху — вход в лагерь, седовые льдины «требуют» обеда; внизу — вид берега Новой земли.



НА КРАСНОЙ

ПЛОЩАДИ!



40318

Главный № А-83918.
Отпечатано в 7-й тип.
ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ
Мосполиграф, Арбат,
Филипповский пер., 13.
З. Т. 2768.

